

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/49/11

С.С. Жданов

ОБРАЗ ГЕРМАНИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАВЕЛОГАХ РУБЕЖА XVIII–XIX вв.: ПРИРОДНОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Статья посвящена анализу образа Германии как варианта образа Чужого, представленного в русских травелогах конца XVIII – начала XIX в., а именно Д.И. Фонвизина, В.Н. Зиновьева, Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского. Автором демонстрируются стилистические, содержательные и идейные различия, касающиеся репрезентации образов немецкого пространства в несентименталистских и сентименталистских текстах. В частности, акцент делается на особенностях изображения природных и антропных локусов, которые в произведениях Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского приобретают идиллические черты.

Ключевые слова: травелог, образ Чужого, сентиментализм, идиллия, Германия, немцы, В.Н. Зиновьев, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, Ф.П. Лубяновский.

Вопросы, касающиеся диалога культур, межкультурной коммуникации и национальной самоидентификации, представляют собой предмет оживленного обсуждения в современной гуманитаристике. При этом закономерно затрагивается имагологический аспект исследований: какое место занимают образы Чужого в родной культуре, какую роль они играют и как формируются. Кроме того, до сих пор не теряет своей актуальности проблема самоидентификации отечественной культуры в ее отношении к условному Западу. Здесь особый интерес представляют XVIII–XIX столетия, и в частности эпоха Просвещения, когда шло активное формирование представлений русских о Западе как Другом. Это связано, в том числе и с участвовавшими в то время поездками наших соотечественников в другие страны, о чем подробнее будет сказано далее. Именно «феномен русского путешествия за границу... необходимо включал в себя и потребность в самоидентификации» [1. С. 6].

В начале XVIII в. Петр I стал инициатором резкой интенсификации связей между Россией и Западной Европой. Этот курс, как бы сейчас сказали, вестернизации страны был в той или иной степени продолжен последующими монархами, породив множество его оценок (как положительных, так и отрицательных). Споры о последствиях петровских начинаний ведутся до сих пор. Несомненным, однако, является факт, что преобразования, происходившие в стране в XVIII в., вызвали количественные и качественные изменения в сфере межкультурных коммуникаций, став своеобразным культурным шоком для русского общества и по-новому актуализировав проблему понимания Чужого в культуре.

Поле смыслового напряжения между Своим и Чужим, или Другим, лежит в основе любой культуры. Таково свойство человеческого сознания, что для него «...совершенно естественно сопротивляться воздействию неведомого и чужого, а потому все культуры склонны существенным образом трансформи-

ровать другие культуры, воспринимая их не такими, какие они есть, но такими, какими они должны быть...» [2. С. 106]. Таким образом, восприятие чужой культуры традиционно сориентировано на культуру собственную, которая «выполняет роль центрального члена и основной ступени» [3]. Более того, как утверждает Ж. Делез, «...другой не есть ни объект в поле моего восприятия, ни субъект, меня воспринимающий, – это прежде всего структура поля восприятия, без которой поле это в целом не функционировало бы так, как оно это делает» [4]. Применительно к нашей теме это значит, что «авто-нарратив» культуры возникает путем сопоставления Своего с Другим, поскольку «...коллективные идентичности конституируются не только воображаемым материалом, из которого они состоят, но также и материалом, лежащим вне их, – материалом, с которым они имплицитно сравниваются. Коллективные идентичности имеют внешние составляющие: эти идентичности определяются целыми напластованиями "Других"» [5. С. 14]. В ходе данного процесса бинарным оппозициям приписываются «культурные значения, основанные на выделяемых сходствах и различиях, а также на представлениях о верховенстве и иерархии» [6. С. 517].

Чужое при этом может пониматься двояко. Во-первых, оно рассматривается в качестве некоего «интенционального сбоя», когда носитель культуры, воспринимающей как Свое, сталкивается с ситуацией «отказа обжитого мира быть "пригодным для..."» [7. С. 27]. С подобным «сбоем» имели дело люди, следовавшие за Петром с разной степенью добровольности и вынужденные приспосабливаться к новым требованиям, отказываясь от давних традиций. Русские контактировали со все большим количеством иностранцев в различных сферах общественной жизни, а также сами отправлялись за границу. Первоначально, согласно Г.А. Тиме, данные поездки носили преимущественно вынужденный характер и были отмечены коммуникационными разрывами, связанными с незнанием языка и неумением / нежеланием принять чужую культуру, однако данная ситуация начинает меняться «...в эпоху Просвещения, особенно при Екатерине Второй, когда на Запад, и особенно в Европу, устремились потоки молодых людей для обучения в университетах» [1. С. 4]. Со временем же «...высокая просветительская традиция путешествий... уже в XVIII веке осложняется разнообразными производными, бытовыми функциями: путешествовать на Запад начинают с лечебными целями, просто в видах приятного препровождения времени и т. д.» [8]. В целом путешествия русских людей за границу делились на две группы: «В первую входят путешествия частных лиц («Grand Tour», образовательные турне), а во вторую – поездки, совершаемые по инициативе государства (научные экспедиции, стажировки русских офицеров в армиях европейских государств, пенсионерство, поездки с дипломатическими и разведывательными целями)» [9. С. 134]. Также со временем у русских «туристов» начинает меняться восприятие Чужого: «...во второй половине восемнадцатого столетия у русских путешественников, благодаря ослаблению профессиональной и культурной связанности с Россией... и некоторому пониманию западных нравов, идей и языков, стали проявляться не только разнообразие интересов, но и способность к разным типам восприятия, начиная с острой аналитической критики, и вплоть до экстатического эстетизма» [10. С. 7].

Данная ситуация порождает потребность осмыслить феномен Чужого, ввести его в той или иной роли в культурное пространство Своего. Эти попытки осмысления Запада носителями русской культуры XVIII в. приводят нас ко второму определению Чужого как культурного образа, который «...пробивает привычную ткань бытия... но человек возвращается в истолкованное пространство, преодолевая собой истолкованием» [7. С. 27]. В результате Чужое в определенном смысле «растворяется» в Своем и предстает как вариант истолкования «на своем, непременно понятном для нас языке, независимо от того, насколько «свой» и «чужой» языки совместимы» [11. С. 12]. Соответственно, говоря в дальнейшем о Чужом, мы будем иметь дело именно с образом Чужого в русской культуре. Сходным образом рассуждает в рамках семиотического подхода Ю.М. Лотман, рассматривая взаимодействие «своей» и «чужой» культур на границах семиосферы. Среди прочего такие контакты порождают в культуре потребность в интериоризации Чужого путем «введения внешних культурных структур во внутренний мир данной культуры», трансформации чужих текстов и создания «общего языка» [12. С. 117]. Интериоризированный образ по своей сути является амбивалентным, поскольку от него требуется, с одной стороны, быть «переводимым на внутренний язык культуры» (не быть «чужим»), а с другой – быть «чужим», т.е. не быть «переводимым на внутренний язык культуры», что «...порождает коллизии большой сложности, а порой и отмеченные печатью трагизма» [Там же].

В частности, задачу интериоризации инокультурного материала взяла на себя русская словесность в виде различных травелогов. Их авторы, создавая всевозможные дневниковые, эпистолярные, а также беллетризованные тексты, способствовали и формированию образа Чужого в рамках отечественной культуры. Этот процесс с начала XVIII в. шел в России по нарастающей и к концу столетия породил, например, такое знаковое для русской литературы произведение, как «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина.

К основным направлениям этого сложившегося в XVIII в. русского травелога можно отнести Германию, Англию, Францию и Италию. Причем за каждой из стран была закреплена определенная репутация: «...в Германию путешествуют в первую очередь за «плодами учености»...; во Францию... для ознакомления с литературными новинками, с достижениями либеральной философско-политической мысли и т. д.; Англия вызывает особый интерес общественными институтами; Италия привлекает... художников» [8]. В рамках данной работы мы ограничимся рассмотрением образа Германии в русской словесности рубежа XVIII–XIX вв. Наш выбор обусловлен той значимостью, которую имели культурные контакты между немецкими землями и Российской империей в данный период, поэтому важной составляющей образа Чужого в русской культуре выступает немецкий элемент. Материалом исследования служат «Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии (1784–1785)» В.Н. Зиновьева, письма Д.И. Фонвизина, адресованные его родным и П.И. Панину и рассказывающие о ряде путешествий автора

по Европе¹, а также «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, созданные в промежутке с 1789 по 1801 г. [13. С. 241], и «Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 годах» Ф.П. Лубяновского. Попутно заметим, что наименование *Германия* здесь берется не в строгом историко-политическом смысле ввиду раздробленности немецких земель в рассматриваемый период. К анализу в основном привлекаются описания северо-немецких земель, в частности Саксонии и Пруссии. За рамки исследования выведены условно «швейцарское» и «австрийское» пространства (в том числе венский локус).

Здесь также следует оговорить элемент новизны исследования. Количество работ, посвященных отечественным травелогам и образам путешественников, все растет, что свидетельствует об актуальности темы и одновременно наличии не разработанного еще материала. Наряду с исследованиями упоминавшихся ранее С.А. Козлова (например, [14]), А. Шенле [10], можно назвать сборники статей «Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века» [15] и «Феноменология, история и антропология путешествия» [16] или коллективную монографию «Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы» [17]. Однако в данных работах образы Германии зачастую не составляют отдельного предмета исследования. С другой стороны, существуют работы, целиком посвященные немецкой теме в рамках русской литературы и культуры. Это, в частности, исследования О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича [18], С.В. Оболенской [19], многочисленные публикации Г.А. Тиме (например, [20]). Но и в упомянутых работах отсутствует заявленный в рамках данной статьи сравнительно-сопоставительный анализ образа Германии в травелогах В.Н. Зиновьева, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского. Кроме того, следует отметить, что творчество Ф.П. Лубяновского еще не вполне отражено в научных исследованиях. Так, хотя в работе С.В. Оболенской рассматривается его произведение, речь идет о более позднем травелоге – «Заметки за границей в 1840 и 1843 годах Ф.П. Лубяновского». Неслучаен, наконец, и выбор аспекта, в рамках которого сопоставляются сентименталистские и несентименталистские сочинения. Природоописание как прием психологической характеристики – это именно то завоевание сентиментализма, которое расширило антропологическое поле русской литературы, «вводя дополнительный аспект психологизации повествования и расширяя его антропологическое поле параллелизмом жизни души и жизни природы» [21. С. 380]. В этом плане своего рода Рубиконом выступает творчество Н.М. Карамзина, которому «...принадлежит заслуга органического введения пейзажа в художественную прозу», ставшего частью «художественной конструкции, реализующей общий замысел произведения» [22. С. 118]. Следовательно, разговор о природных образах Германии в русской литературе невозможен вне контекста «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина.

Анализируемые в работе источники различаются по объему, подробности и стилю изложения. Сообщения В.Н. Зиновьева и Д.И. Фонвизина о немец-

¹ Второе заграничное путешествие Д.И. Фонвизина датируется 1777–1778 гг., третье – 1784–1785 гг.

ком этапе их путешествий зачастую довольно лаконичны. Так, В.Н. Зиновьев, не вдаваясь в подробности, пишет, что в Берлине находятся «многие прекрасные дома» [23. С. 336]. Д.И. Фонвизин, посещая Лейпциг, замечает, что осмотрел «картинные кабинеты», в которых «много наилучших пьес славных мастеров» [24. С. 509], но при этом не называет даже имен этих мастеров¹. Напротив, в сочинениях Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского встречаются пространные экфрасисы, занимающие порой несколько страниц, или подчеркнуто эмоциональные описания красот природы. В этом плане докарамзинский и посткарамзинский травелоги существенно отличаются друг от друга, и «Письма русского путешественника», как пишет О.Б. Лебедева, выступают здесь «своего рода поворотным пунктом истории русской повествовательной прозы» [25. С. 5]. Так, по мнению Н.Г. Морозовой, если Д.И. Фонвизин в письмах предпринимает «еще довольно слабую» попытку «вербально зафиксировать глубокое переживание прекрасного», то произведение Н.М. Карамзина представляет собой по-настоящему «первый опыт духовно-эстетического наслаждения изящным» [26. С. 163].

Соответственно, произведения Ф.П. Лубяновского и Н.М. Карамзина отличается установка на литературность, пусть и замаскированную под документальную эпистолярно-дневниковую форму. Текст Д.И. Фонвизина имеет конкретных адресатов², представляя собой частную переписку. Журнал В.Н. Зиновьева также имел формального адресата, графа С.Р. Воронцова, к которому автор обращается со страниц рукописи. Более того, он с самого начала вводит фактор случайности, ненамеренности своих записок, замечая, что вести журнал его подвигла встреча с неким французским генералом и по происхождению саксонцем Шенбергом: «...так как он в одном со мной трактире жил, то, быв у него, увидел писанную бумагу и узнал от него, что это журнал и что он только примечания достойные вещи тут вписывает... Сие мне весьма понравилось, и взяв с него пример, и сам сие делать вздумал. ...Через непредвиденный случай будем иметь я и ты большое удовольствие, когда мы увидимся и вместе сие читать будем» [23. С. 335]. В то же время «Письма русского путешественника» становятся, как пишет А.А. Куликова, «первым значимым произведением» эпохи сентиментализма, в рамках которой «...жанр литературного путешествия приобретает черты беллетристического стиля» [13. С. 241]. Н.М. Карамзин целенаправленно трансформирует свои дорожные впечатления и накопленные знания в литературный травелог, имеющий не конкретного адресата, а превращающийся, по выражению К. Штэдтке, «в предмет для чтения чувствительной публики» [27. С. 381]. В результате писа-

¹ Впрочем, Д.И. Фонвизин объясняет свое немногословие интересами адресатов, т.е. родных, которым, по его мнению, будет интереснее читать про саксонских горбунов: «В журнале, который я веду для себя собственно, делаю описание картин лейпцигских; но как из вас никто не охотник до живописи, то я эту часть здесь пропускаю...» [24. С. 510]. Такой отбор материала составляет резкий контраст с произведением Н.М. Карамзина.

² Ср. с мнением А. Шенле, акцентирующего момент непонимания авторами докарамзинских травелогов того, «...что аналитические наблюдения и эмоциональные впечатления могут быть интересны широкой читающей публике. Воронцов, Фонвизин, Дашкова и подобные им писали прежде всего для себя, или же имея в виду какого-то определенного читателя – родственника или покровителя» [10. С. 7].

телю удастся создать¹, согласно Ю.М. Лотману и Б.А. Успенскому, «устойчивый культурный образ «русского путешественника» за границей» [28. С. 531], который будет влиять как на последующих авторов (например, на того же Ф.П. Лубяновского), так и на читателей русской литературы в течение долгого времени.

Различаются авторы рассматриваемых текстов и высказываемым отношением к немецкому как Чужому. В.Н. Зиновьев, привыкший к роскоши российского двора, позволяет себе ироничные высказывания о простоте нравов во владениях немецких князей и даже пересказывает не вполне приличные анекдоты из жизни августейших особ. Впрочем, у автора журнала встречаются также пассажи объединяющего свойства. В частности, В.Н. Зиновьев показывает равенство русских и немцев, а также других европейских народов в их галломании: «Живут здесь так же, как и у нас, и как я себе воображаю, и везде. Франция, как флигельман, начинает. А мы, то есть европейские народы вообще, как рядовые, все слепо и с крайним подобострастием перенимаем» [23. С. 337].

Ф.П. Лубяновский старается сохранять объективность изложения, лишь иногда иронизируя в отношении немецких филистеров и гелертеров. Он по возможности воздерживается от национальных обобщений-стереотипов, в самом начале своих заметок акцентируя всеобщность человечества: «Везде одни люди и везде одни страсти. ...Если не совсем невозможно, то по крайней мере трудно определить общий нрав и точно обозначить оттенки, по которым отличается народ от народа, если еще они есть в самом деле. Различные ж обычаи составили бы только забавные картины»² [30. С. 6–7]; «Не займу я тебя долго описанием жителей Саксонской Столицы. Жители больших городов, кажется, согласились походить одни на других, под какими бы они законами ни были» [Там же. С. 16].

Иное дело Д.И. Фонвизин, который зачастую не стесняется в выражениях по поводу заграницы. Вот как он характеризует, например, прусскую и саксонскую почтовую службу: «...почтовые учреждения его прусского величества гроша не стоят. <...> В Саксонии... также довольно плохо» [24. С. 502]. Более того, Д.И. Фонвизин выступает как ярый приверженец русского в противовес иностранному, о котором, по его мнению, у русских людей сложилось преувеличенно положительное представление. Ряд пассажей в его письмах посвящен «разоблачению» этих, говоря современным языком, симулякров. Вот как, например, Д.И. Фонвизин высказывается о Франции: «Я думал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, но ошибся жестоко. Все люди, и славны бубны за горами!» [Там же. С. 423]. Автор писем еще резче, чем В.Н. Зиновьев, высказывается о галломании, т.е. о растворении Своего в Чужом, и подчеркивает пользу путешествий как встречу с этим Чужим в том, что она утверждает самостоятельность русских в общеевропейской семье народов: «...не могут мне импозировать наши Jean de France. <...> Научился

¹ Более того, как подчеркивает Ю.М. Лотман, Н.М. Карамзин создает «не только произведение, но и читателя», ту самую чувствительную публику, в качестве «культурно значимой категории» [29. С. 221].

² Здесь и далее орфография и пунктуация цитируемого текста издания 1805 г. по возможности приведена в соответствие с современными нормами русского литературного языка.

я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве. Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой...» [24. С. 449].

Впрочем, просветительский мотив всеобщности человеческого рода, как видим, встречается у всех авторов. Не чужд он и Н.М. Карамзину, который в своих «Письмах», по Ю.М. Лотману и Б.А. Успенскому, описывает мир, где Россия не противостоит Европе, но является ею, становясь «обыкновенной, понятной, своей, а не чужой» [28. С. 565]. Писатель, убежденный «в единстве пути развития человечества» [Там же], здесь выступает как представитель оптимистически настроенного Просвещения. Вспомним хотя бы чувствительную сцену братания в Королевском обществе как провозвестие эпохи мира и торжества разума вопреки сиюминутной вражде между государствами: «...был я в Королевском обществе. Г. Пар... ввел меня в это славное учное собрание. С нами пришел еще молодой Шведской Барон Сил... Входя в залу собрания, он взял меня за руку и сказал с улыбкою: "здесь мы друзья... храм Наук есть храм мира". Я засмеялся, и мы обнялись по-братски; а Г. Пар закричал: "браво! браво!"» [31. С. 346]. При этом позиция Н.М. Карамзина как автора-посредника между культурными сферами предполагает элемент амбивалентности. С одной стороны, взгляды писателя следует отличать от высказываний его героя как «литературной позы», которая, в свою очередь, двойится в зависимости от аудитории: если «в России, перед русским читателем, Карамзин предстал в утрированной роли «европейца», то среди европейцев он «...играл подчеркнутую роль «русского», резко отзываясь о тех своих соплеменниках, которые за границей стремятся походить на иностранцев»¹ [28. С. 527]. Синтез этого мирового раздвоения осуществляется писателем через объединение миров на основании культурной общности. Новое зримое пространство, как пишет Д.Л. Чавчанидзе, приобретает для Н.М. Карамзина «значение пространства культурного» [32. С. 59], в котором устраняются межнациональные границы. При этом осваивание Чужого происходит не только за счет осматривания новых мест и различных культурных артефактов, но в том числе и через встречи с известными иностранцами как представителями единого духовного братства. В частности, «приобщение к культурному миру Европы» Н.М. Карамзин переживает в Германии, «в стране "бурных гениев"» [Там же. С. 60].

Еще одной чертой, объединяющей тексты четырех авторов конца XVIII в., являются (наряду с вольно или невольно всплывающей темой освоения Чужого) жанровые особенности рассматриваемых сочинений. Все они, сочетая в себе черты как записок о путешествии, так и эпистолярная, в той или иной степени «...выстраивают резко индивидуализированный образ действительности, пропущенный сквозь призму восприятия персонифицированного субъекта повествования, которое окрашивает в тона субъективной мысли или эмоции любой факт реальности, превращая его из самоцельного

¹ Ср. с характеристикой русского консула в Кенигсберге: «...хотя уже давно живет в Немецком городе, и весьма хорошо говорит по-Немецки, однако же ни мало не обгерманился, и сохранил в целости Руской характер» [31. С. 22].

объекта в факт отдельной частной жизни, подчиненный логике самораскрытия и самопознания души» [25. С. 6].

От этих соображений общего плана перейдем наконец к рассмотрению образа самой Германии в заявленных текстах. При этом для структурирования материала мы будем руководствоваться в первую очередь «географическим» членением описываемого пространства. Данный подход, с одной стороны, обусловлен раздробленностью Германии в рассматриваемый период, о чем уже говорилось выше, в результате чего отдельные города и княжества приобрели ряд уникальных черт в глазах путешественников. С другой стороны, мы опираемся на сложившуюся в рамках травелога устойчивую традицию, выделяющую ключевые точки описания немецких земель. Среди этих значимых локусов, входивших в своего рода германский мини-Grand Tour, можно выделить Дрезден, привлекавший русских путешественников, ценителей прекрасного, своей картинной галереей; Берлин как столицу Прусского королевства; Нюрнберг, город для «интересующихся творчеством А. Дюрера» [26. С. 163]; Лейпциг, знаменитый своим университетом.

Вообще, ни В.Н. Зиновьева, ни Д.И. Фонвизина (авторов несентименталистских текстов) природные локусы по большей части не интересуют. Их писательское внимание сосредоточено на урбанистических пейзажах. Поэтому мы не встретим в зиновьевском «Журнале» и фонвизинских письмах пространных описаний переездов с описаниями природных ландшафтов. Сообщая о переездах, Д.И. Фонвизин ограничивается упоминанием легкости или трудности дороги да жалобами на медлительность немецких «почталионов». Дорога для него – это бессюжетное, ничем не примечательное пространство. Она представляет собой испытание, которое необходимо перетерпеть с напряжением душевных и физических сил: «Из Кенигсберга... были мы в дороге до Лейпцига одиннадцать дней, то есть по скверной прусской почте, ехав почти всегда день и ночь...» [24. С. 501]; «...разозлился я на скотов почталионов и заплатил за свой гнев головною болью. ...Надобно быть ангелу, чтоб сносить терпеливо их скотскую грубость» [Там же. С. 502]. Если Д.И. Фонвизин и упоминает поле, то это бывшее поле битвы, напоминающее об ужасах войны: «...ехали мы чрез поле, на котором в 1760 году была страшная баталия между пруссаками и австрийцами. Тут погребено несколько тысяч людей и лошадей. Смотря на сие несчастное место, ощущали мы жалость и ужас» [Там же. С. 507]. В единственном эпизоде, где повествование касается сельского пейзажа не в отрицательном ключе, речь идет об утилитарном (гастрономическом) изобилии края, а не его эстетической ценности: «...прескучная медленность почталионов награждалась прекрасною погодою и изобилием плодов земных. Во всей западной Пруссии нашли мы множество абрикосов, груш и вишен» [Там же. С. 502]. Время в дорожном хронотопе отмечено ретардацией, бессобытийностью (и потому скукою); оно течет мучительно медленно. Образ скучной, бессобытийной дороги имеется и в тексте Н.М. Карамзина: «...поехали... в Потсдам. Ничего нет скучнее этой дороги: везде глубокой песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается» [31. С. 41]; «Дорога от Готы была для меня очень скучна. Почти на каждой станции надлежало мне ночевать... или по крайней мере стоять по несколько часов. Дороги везде прескверная, так что надобно ехать все ша-

гом, и даже самая улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с трудом проехать можно» [Там же. С. 82]. Тот же мотив медлительности мы встречаем у куда более сдержанного в выражении чувств В.Н. Зинovieва, который лишь замечает, что по дороге между Кенигсбергом и Берлином его «...терпению... весьма великий опыт был: неописательная медленность, как в езде, так и в отправке, в лошадях» [23. С. 336]. Еще один образ, связанный у Д.И. Фонвизина с немецкой провинцией, – грязные дороги, которые опять-таки чреваты ретардацией, помехами в пути, временными и денежными потерями: «Дороги часто находил немощеные, но везде платил дорого за мостовую; и... по вытащении меня из грязи, требовали с меня денег за мостовую...» [24. С. 455].

К этому стоит прибавить и образ медлительных почталионов, выступающий в фонвизинских письмах своего рода лейтмотивом путешествия по Пруссии и Саксонии: «Двадцать русских верст везет восемь часов, всеминутно останавливается, бросает карету и бегаёт по корчмам пить пиво, курить табак и заедать маслом. Из корчмы не вытащить его до тех пор, пока сам изволит выйти»; «На почтах его (прусского короля. – С.Ж.) скачут гораздо тише, нежели наши ходоки пешком ходят» [Там же. С. 502]; «Я отроду прусским и саксонским почталионам не кричал: тише! – потому что тише ехать невозможно...; разве стоять на одном месте» [Там же. С. 506]. Немецким противопоставляется доставляющий до места гораздо скорее русский «добрый извозчик» [Там же. С. 501] или даже пешеход. Образ медлительного прусского постиллиона имеется и у Н.М. Карамзина: «Путешественники говорят всегда с великим неудовольствием о грубости Пруссских постиллионов. <...> Нахальство сих последних было несносно. У всякой корчмы они останавливались пить пиво, и несчастные путешественники должны были терпеть, или выманивать их деньгами» [31. С. 29]; «Саксонские постиллионы... также жалеют своих лошадей, также любят пить в корчмах и также грубы» [Там же. С. 50].

Кроме того, в письмах Д.И. Фонвизина встречается мотив inferнальности немецкого пространства. При этом в текст вводится, с одной стороны, смеховая сниженная трактовка образа Чужого немца-черта, представленная в русской народной культуре. Это осуществляется путем передачи точки зрения кучера Калинина (крестьянина Л.А. Нарышкина): «По его мнению, русских создал Бог, а немцев черт. Он считает... что, раздавив немца, Бога прогневить нельзя» [24. С. 510]. С другой стороны, в варианте «высокой» культуры «адские» характеристики присутствуют в описаниях как дорог («Дороги адские...» [Там же. С. 508]), так и, в наибольшей степени, ночной переправы по мосту через Эльбу: «Предлинный и превысокий крытый мост... чрез который мы ехали при ночной темноте, так страшен, что годился б чрезмерно хорошо к принятию в масоны¹. Мы думали, что нас везут в жилище адских духов» [Там же]. С другой стороны, пройдя эту символическую инициацию, претерпев лишения и страдания, можно наконец попасть в «настоящую» Ев-

¹ Мотив «масонской» Германии встречается и у В.Н. Зинovieва, принятого в Берлине в ложу «с произведением в мастера» [23. С. 338], и «неявно, подспудно» [8] у близкого одно время к масонским кругам Н.М. Карамзина.

ропу как некий благой локус. Сравните с описанием Саксонии у Ф.П. Лубяновского: «Шлезия мне показалась обетованною землею после Польши...» [30. С. 10].

Притом следует учитывать, что в дальнейшем Д.И. Фонвизин разрушает и эту мифопоэтическую схему, показывая, что и «истинная» Европа вовсе не земля обетованная. «Настоящая» Европа начинается для автора писем только с посещения Лейпцига, а немецкие земли до этого представляют собой лишь чреватую опасностями и неприятностями границу между двумя мирами – Россией и Европой: «...проехав из Петербурга две тысячи верст, дотащились мы, можно сказать, только до ворот Европы. Лейпциг есть первый город, который заслуживает примечание» [Там же]. Впрочем, ожидание «истинной» Европы, т.е. совпадения реальности с идеализированными представлениями о ней в русском обществе, каждый раз откладывается и тем самым редуцируется. Тот же Лейпциг оказывается не вполне европейским. Встреча с Европой откладывается в очередной раз до Нюрнберга: «...от самого Лейпцига до здешнего города было нам очень тяжко. <...> ...От Петербурга до Ниренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных припасах – словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы» [Там же]. Как видим, по большей части в своих письмах Д.И. Фонвизин выступает с позиций культурной центрации, где своеобразным центром системы координат выступают Петербург¹ и русские земли, с которыми постоянно сравнивается пространство Чужого. В каком-то смысле путешествие Д.И. Фонвизина напоминает секуляризованный вариант хождений за правдой в Святую землю, оборачивающийся десакрализацией европейских стран, которые в восприятии автора в чем-то хуже, в чем-то лучше родного отечества, но в целом являются такими же землями, как многие прочие. В этом плане путешествие героя Н.М. Карамзина больше напоминает паломничество по святым местам, что, Впрочем, не отменяет наличия иронического «зазора» между героем как литературной позой и позицией самого автора. Этот зазор ощущается, например, в сцене, где чувствительный герой описывает свое разочарование от того, что «реальный» Франкфурт отличается от светлой солнечной картины, нарисованной в воображении путешественника: «...такой ли погоды ожидал я в здешнем кротком климате? <...> Там, где течет Маин и Рейн, думал я, там небо чисто, дни красны, и одни Зефиры струят воздух; там цветущая Природа ликует в ярком свете лучей солнечных. Но – приезжаю, и нахожу пасмурную осень середи лета» [31. С. 84].

Как видно уже из приведенного фрагмента, природные локусы играют значительно большую роль в сентименталистском дискурсе. Соответственно, в отличие от сочинений В.Н. Зиновьева и Д.И. Фонвизина, описания немецких земель у Ф.П. Лубяновского и Н.М. Карамзина (у последнего в особенности) изобилуют пространными пейзажными зарисовками. Природный и сельский ландшафты, перетекая друг в друга, образуют единое пространство ес-

¹ Петербург здесь не только государственный центр, но и средоточие «своего» пространства, воплощение русскости. Ср. с пассажем у Ф.П. Лубяновского: «...иностранец (т.е. в данном случае русский за границей. – С.Ж.) нигде не найдет другой Москвы и Петербурга» [30. С. 17].

тественности в духе Ж.-Ж. Руссо и непременно попадают в поле зрения созерцательно-чувствительного путешественника, становясь источниками положительных эмоций и сладких грез. Карамзинский герой открыто наслаждается этими сенсуалистскими зрелищами: «...даю волю глазам своим бродить по лугам и полям...»; «Места... очень приятны. То обширные поля с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то маленькие рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькие деревеньки вдаль составляли также приятный вид» [31. С. 14]; «На обеих сторонах дороги расстилались богатые луга; воздух был свеж и чист; многочисленная стада блеянием и ревом своим праздновали захождение солнца» [Там же. С. 26]. По сути, с эстетической точки зрения на мир сентиментального путешественника нет разницы между произведением искусства и творением природы: «Прекрасный лужок, прекрасная рощица, прекрасная женщина... все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его. Образ милой Саксонки остался в моих мыслях, к украшению картинной галереи моего воображения» [Там же. С. 51]. Таким образом, описание любого эстетически оцениваемого пространства можно представить в произведении Н.М. Карамзина как некий «экфрасис» галереи выставленных картин.

Сходной «изобразительной» позиции придерживается рассказчик и в произведении Ф.П. Лубяновского, восклицая: «Жаль, что я не живописец: тогда снявши дрезденския местоположения, украсил бы я дом твой самыми приятными картинами» [30. С. 15], он наслаждается «местами картинными» [Там же. С. 23]. Вообще, описания Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского порой весьма сходны. В качестве примера приведем изображение окрестностей Дрездена у обоих авторов: «...вдруг открылся мне Дрезден, на большой долине, по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина, составляют великолепный вид» [31. С. 15]; «С одной стороны цепь гор, идущих полукружием, покрытых мызами и виноградными садами, защищает город. У подошвы их Эльба течет по плодоносной долине и излучинами своими делает прелестныя виды» [30. С. 15]¹. Для усиления визуального контакта с природным локусом чувствительный герой готов даже покинуть карету и пройтись пешком, что немыслимо в зиновьевском и фонвизинском текстах: «...сказав... что буду дожидаться коляски на дороге, пошел я из Дрездена пешком <...> Скорыми шагами вышел я из города; но вышедши, почти на каждом шагу останавливался и любовался прекрасною Натурою и плодами трудолюбия» [31. С. 56]. В отличие от фонвизинских впечатлений, дорожная ретардация здесь оценивается положительно, поскольку она обусловлена эстетическими потребностями. Еще сильнее мотив прогулки без утилитарной цели усилен у Ф.П. Лубяновского: «...здешняя сторона мне столько нравится, что я часто один дня по два хожу пешком из деревни в деревню» [30. С. 28].

В целом можно сказать, что Саксония изображается Ф.П. Лубяновским

¹ Ср. с несентименталистским описанием той же местности у В.Н. Зиновьева, в котором нет столь экспрессивных эпитетов: «...положение его (Дрездена. – С.Ж.) чрезвычайно приятное; окружен со всех сторон горами; имеет реку чрезвычайно быструю и довольно широкую» [23. С. 338].

как воплощение упорядоченной просвещенной монархии¹, вобравшей в себя как достижения Разума, так и патриархально-идиллические черты с опорой на общее благо: «Образ правления нашего предоставляет нам самим право делать все те учреждения, кои по общему согласию могут быть признаны полезными в том или другом отношении» [30. С. 26]. Лейтмотивами описания этого государства являются порядок и умеренность². Так, государство регламентировано в социальном плане: «Между высоким и средним Дворянством, равно как и между всеми состояниями, проведена здесь черта, за которую никто не выходит: все в своем круге» [Там же. С. 17–18]. Упорядочена налоговая сфера: «Правительство... не упустило из виду ни одного предмета, который может умножить его доходы» [Там же. С. 40], причем из-за разумного устройства налоги не тяготят подданных: «...постоянный и твердый во всем порядок, уверенность в употреблении сих сборов на общее благо, непоколебимое трудолюбие, трезвость и умеренность делают их (налоги. – С.Ж.) для всякого сносными» [Там же]. Тот же порядок царит в управлении хозяйством: «...часть хозяйственная... в великом здесь устройстве» [Там же. С. 36]; «...земледелие здесь в цветущем состоянии» [Там же]. Это пространство торжествующей рациональности эпохи Разума: «Здесь без расчета никто ни полшага; все взвешенно и все измерено» [Там же. С. 16]. Все благие перемены происходят, по мнению путешественника, благодаря просвещенному курсу правления: «Правительство сделало... для крестьян то, что только может быть полезнее для сего состояния: распространило... между ними просвещение. Прямое для крестьянина просвещение то, когда он пробужден будет от той дремоты, в коей все для него равно...» [Там же. С. 38]; «Сие самое пробуждение основало тут фабрики и рукоделья, умножило и улучшило овцеводство, исправило рудоплавильные заводы, распространило все ветви хозяйства, оживило торговлю» [Там же. С. 39].

Саксония изображается Ф.П. Лубяновским территорией мира (непременная черта идиллии) как во внешнеполитическом («...война опустошала Германию и всю Италию, до спокойной Саксонии не доходили и звуки оружия» [Там же. С. 24]), так и внутривнутриполитическом плане. Сословия почитают своего монарха: «...крестьяне мне говорят, что они счастливы... и только боятся потерять своего государя» [Там же]; «...Дворянство пошло вслед за своим Государем» [Там же. С. 36]; крестьяне, как было сказано выше, не бунтуют против помещиков. Причем социальный мир в Саксонии обусловлен соображениями выгоды: «...взаимные соотношения всегда поддерживают связь между помещиками и земледельцами, оставляя последних в совершенной свободе и принося первым верные выгоды» [Там же. С. 30]. По расчету и любовь населения к правителю, поскольку оно имело достаточно примеров разрушительности неограниченного властолюбия и самоуправства как со стороны соседних государств (здесь Ф.П. Лубяновский последовательно сопоставляет немецкие земли с Польшей: «Шлезия мне показалась обетованною землею

¹ Ф.П. Лубяновский в своих описаниях гораздо больше внимания, по сравнению с прочими авторами, уделяет хозяйственной жизни германских государств.

² Даже такой природный фактор, как погода, маркируется умеренностью: «В Саксонии климат постояннее; зима там столь была умерена, что я в одном сюртуке всякий день ходил гулять загород» [30. С. 123].

после Польши, где прежнее самовластие оставило надолго глубокие следы неустройства» [Там же. С. 12]; «Можно быть пораженным очевидным преимуществом, отличающим всегда свободного земледельца, когда в Шлезию въедешь из польских Провинций» [Там же. С. 31]), так и в собственной истории («Виды властолюбия... давно сошли во гроб вместе с Королями...» [Там же. С. 24]). В сельской среде фактически нет преступлений и уважается право собственности: «Право собственности тут священно. <...> ни один сад не имеет ограды; без стражи все всегда цело...» [Там же. С. 32–33].

Саксонский курфюрст¹ изображается как просвещенный монарх, «добрый и миролюбивый Государь» [Там же. С. 25–26], соблюдающий права своих подданных: «Курфирст у нас блюстителъ только законов: они столь же для него священны, сколько и для последнего из его подданных...» [Там же. С. 26]. Кроме того, он набожен и в то же время интересуется науками, а не войнами или дворцовыми приемами: «...он столько единообразен в своей жизни, что сегодня я могу смело сказать, какое платье наденет он в сей самый день следующего года; в обществе он ни полслова ни с одним Офицером; с иностранными поверенными в делах говорит только один раз в году...» [Там же. С. 25]; «В жизни спокойной и тихой он любит науки; в них находит свое удовольствие и успокоение. Любимые науки его Металлургия и Ботаника» [Там же. С. 27]. Также подчеркиваются саксонские элементы самоуправления (ведь курфюрст, напомним, только законоблюстителъ): «Каждые шесть лет мы имеем для сего Ландтаги. Тут соображаются все предметы, относящиеся до Государства, учреждаются налоги, составляются законы» [Там же. С. 26]. Следует, однако, иметь в виду, что этот панегирик правителю Ф.П. Лубяновский вкладывает в уста верноподданного старика-саксонца, с которым не раз беседует герой. Так, личные впечатления В.Н. Зиновьева несколько отличаются от нарисованной выше картины. В частности, он замечает, что сборы «Landesstädte» «всякие шесть лет» «...сперва весьма много значили; но теперь здешний курфюрст делает, что изволит, и, не нося имени самодержавного, оным пользуется» [23. С. 339].

Впрочем, общая характеристика В.Н. Зиновьева, данная саксонскому правителю, положительна: «Курфирст – государь весьма хороший и Саксония весьма счастлива иметь такого... да сверх того и великая нужда состоит, чтобы он таков был: земля еще не могла так скоро оправиться после правления двух королей, которые роскошью и глупой пышностью все, кажется, употребили, чтобы землю свою истощить; к сему же его величество король прусский всевозможные способы употребил в Семилетнюю войну, чтобы сию несчастную землю изнурить» [Там же. С. 26]. Как и у Ф.П. Лубяновского, в зиновьевском изображении правления Августа III присутствуют мотивы счастливых подданных, расточительности прежних монархов и умеренности нынешнего², а также Семилетней войны, которая изменила жизнь княжества.

¹ Имеется в виду Фридрих Август III, курфюрст саксонский, получивший прозвище Справедливый.

² Ср. также весьма сходный по смыслу фрагмент у Ф.П. Лубяновского: «Если обратиться к прошедшему времени, когда... роскошь, снедая свои богатства... блеск свой поддерживала чужим имуществом; когда властолюбие навлекало... на Саксонию удар за ударом, то нельзя не отдать справед-

Сравните с пассажем из «Путешествия...» о «великом уроке умеренности» из-за бедствий, «навлеченных семилетнею войною» [30. С. 24]. Все усилия саксонцев направлены во внутреннее пространство, на «внутреннее благоустройство и обогащение Государства». Даже курфюрст, напомним, не только не ведет завоевательную политику, но с представителями иностранных держав (т.е. внешнего мира) встречается раз в году и даже не ходит пешком, ведя максимально закрытую, непубличную, «внутреннюю» жизнь.

Из-за этого привыкший к пышности русского (и прусского) двора В.Н. Зиновьев, отдав должное бережливости саксонцев, сетует на скуку здешней жизни как обратную сторону умеренности: «Дворцовые, как и все прочие собрания, довольно скучны, и с берлинскими сравнения не имеют...» [23. С. 340]. Путешественник видит лишь остатки бывшего «великолепия двора», «...который под царством двух королей так отличался» [Там же]. Ф.П. Лубяновский также замечает, что по сравнению с другими столицами в Дрездене «...роскошь не в вышней степени» [30. С. 16]. При этом немецкая добродетель умеренности противопоставляется русской расточительности: «Осторожная бережливость отъемлет ли у здешних жителей охоту к ея блеску и удовольствиям...» [Там же]; «С умеренными доходами они... довольны. Точность во всем и порядок доставляют им сию выгоду, а воздержание дает им еще способы сохранить и блеск наружный. Мы часто у себя видели, как... не весьма достаточные люди, желая сколь можно ближе подойти к другим, кому богатство дает более способов к роскоши, нечувствительно себя разоряют...» [Там же. С. 17]; «Не удавалось мне тут видеть ни весьма богатых, ни весьма бедных людей» [Там же. С. 32]; «Мало я по деревням находил нищих¹...» [Там же. С. 33]; «Умеренность заступила место роскоши; Дворянство пошло вслед за своим Государем» [Там же. С. 36].

В изображении Ф.П. Лубяновского жизнь саксонца (как простолюдина, так и дворянина) заполнена постоянным трудом по благоустройству пространства и приумножению благосостояния: «Простолюдины в непрерывных трудах и работе. <...> Тут столько все любят трудиться, что женщины даже в театр с работою ходят» [Там же. С. 18]; «Воспитание жителей, нрав их и самая нужда заставляет работать» [Там же. С. 33]; «...здешнее Дворянство... само занимается своими поместьями, само приводит в действие хозяйственные свои знания» [Там же. С. 37]. При этом в очередной раз показывается рациональность деятельности саксонцев в том числе и в труде: «Саксонец не механически прилежен, но в работах смысл его действует. Он изобретет средства сделать труд свой удобнеем и землю свою лучшею» [Там же. С. 32].

Немецкое (саксонское) сельское пространство в сочинении Ф.П. Лубяновского представляется, таким образом, очеловеченным, тем, что Ф. Ной-

ливости здешнего Правительства, которое... решилось отречься от прежних правил и взять... ход, совсем им противоположный» [30. С. 36].

¹ Д.И. Фонвизин, путешествовавший по Саксонии в 1784, т.е. чуть менее двадцати лет до Ф.П. Лубяновского, свидетельствует: «Нищих в Саксонии пропасть, и самые безотвязные. <...> Страждущих от всякия скорби, гнева и нужды в такой землицке, какова Саксония... больше, нежели во всей России» [24. С. 510]. Судя по этому, мирное правление курфюрста и в самом деле оказалось благотворным для его подданных.

манн определил как «das von menschlicher Hand Gestaltete», т.е. в буквальном переводе «оформленное человеческой рукой» [33. С. 120]: «Не встречал я тут ни одного ручья, на коем не было бы мельницы; но это бы меня отнюдь не занимало, если бы я не видел маленьких каналов, часто весьма искусно туда проведенных» [30. С. 32]. «Рукотворный», т.е. возникший в результате человеческого вмешательства, образ Саксонии подчеркивается автором также в сопоставлении с образом Богемии: «Богемия... едва ли еще может равняться с Саксониею. Здесь... природа все сама более делает» [Там же. С. 106]. Сравните также с описанием у Н.М. Карамзина: «...кажется, земля в Пруссии еще лучше обработана, нежели в Курляндии...» [31. С. 14].

Тенденция к миниатюризации при изображении Германии в большой степени выражена у Д.И. Фонвизина. В описании он прибегает к уменьшительным и уменьшительно-пренебрежительным суффиксам: землишка Саксония [24. С. 511], деревнишки Саркау и Rossitten [Там же. С. 505], театришка в Нюрнберге [Там же. С. 513]; местечки Либерозе и Ауме [Там же. С. 507, 511], городки Прусская Голландия, Фридланд, Лукау и Шлейц [Там же. С. 506, 507, 511] и даже «большой городок» Мариенвердер [Там же. С. 506]. В последнем случае примечательна амбивалентная пространственная характеристика, где первое слово «большой» противоречит по смыслу второму. Вероятно, это связано с двойственным восприятием автором немецкого пространства как чего-то мелкого по сравнению с российскими просторами. Карликовость лоскутной Германии акцентируется также в следующем описании: «Из Франкфурта ехал я по немецким княжествам: что ни шаг, то государство. Я видел Ганау, Майнц, Фульду, Саксен-Готу, Эйзенах и несколько княжеств мелких принцев» [Там же. С. 455]. Как видим, маленький размер пространств метонимически маркирует их правителей (мелкие принцы). Миниатюрность немецких локусов у карамзинского героя, в отличие от Д.И. Фонвизина, вызывает не насмешку, а умиление. На страницах «Писем...» мы встречаем «маленькия рощицы и кусты», «маленькия деревеньки» [31. С. 14], «маленькой городок» Гейлигенбейль [Там же. С. 24], «маленькое местечко» Фрауенберг [Там же. С. 25], «два маленькие городка» Кеслин и Керлин [Там же. С. 30], маленькие городки и местечки [Там же. С. 82], «маленькая беседка», «маленький лесок» [Там же. С. 85], «уединенный домик с садиком», «узенькую тропинку» [Там же. С. 86]. В этом внимании к миниатюрному проявляется любовь сентименталистов к изящному. У Ф.П. Лубяновского упоминаются «маленькие каналы», ведущие к мельницам [30. С. 32]. Наконец, у последнего автора небольшие размеры пространства становятся не только знаком идиллического локуса, но и условием его реализации. «Недостаток земли» побуждает немцев к ургии, к целенаправленным усилиям, чтобы «лучше возделать свое поле, осушить болото, превратить песок в плодоносную землю» [Там же. С. 37]. Именно в ограниченном пространстве Саксонии, по мысли Ф.П. Лубяновского, легче, чем в большом государстве, добиться гармонии и порядка: вспомним описание идиллического маленького Дессауского княжества, превращенного в своего рода усадьбу. Кроме того, «...в такой области, которой значащую часть можешь глазами измерить сверху высокой башни, легко удержать во всем порядок и постоянным надзором отвратить несчастные происшествия» [Там же. С. 43].

Итак, рассмотрение двух пар травелогов – В.Н. Зиновьева и Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского – позволяет судить о значительных изменениях, которые происходят в отечественной литературе путешествий на рубеже XVIII–XIX столетий. Эти изменения касаются как стиля описания и его объема, так и читательской публики, к которой обращены данные произведения. Фонвизинские письма и зиновьевский журнал имеют частных адресатов, Н.М. Карамзин же, превращая травелог в беллетризованную литературу, создает новую «чувствительную» относительно широкую читательскую аудиторию, к которой впоследствии обращается и Ф.П. Лубяновский. Кроме того, эволюция литературы путешествий проявляется в отборе объекта описания. Сосредоточенность просветительского травелога на социально-антропологическом аспекте приводит к тому, что описания Германии в сочинениях Д.И. Фонвизина и В.Н. Зиновьева затрагивают лишь городское «очеловеченное» пространство. В сентименталистском же травелоге основное внимание сосредоточено на тех объектах, которые вызывают определенную эмоцию – неважно, позитивную или негативную, и тем самым дают возможность углубиться в жизнь чувствительной души. Отсюда в повествованиях Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского обилие пейзажных зарисовок, придающих описанию Германии черты идиллии. Наконец, следует отметить и различное отношение к Чужому в рассматриваемых текстах. В докарамзинских сочинениях акцентирован сравнительный аспект оппозиции «свое – чужое», и конечной целью описания является не столько познание Чужого, сколько соотнесение его со Своим с целью самоидентификации, что представляет собой своего рода рационалистическое «картографирование» внешних культурно-географических объектов и явлений. В сентименталистских же текстах немецкое как Чужое становится предметом не только рационального понимания содержания этих внешних объектов и явлений, но также их эмоционального освоения через введение во внутреннюю, душевную жизнь русского путешественника.

Литература

1. Тиме Г.А. О феномене русского путешествия в Европу: Генезис и литературный жанр // Русская литература. 2007. № 3. С. 3–18.
2. Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока / пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб.: Русский мир, 2006. 638 с.
3. Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «Чужом» / пер. О. Кубановой // Логос. 1994. № 6. С. 77–94 [Электронный ресурс]. URL: <http://anthropology.rinet.ru/old/6/wald.htm>
4. Делез Ж. Мишель Турнье и мир без Другого / пер. с фр. В. Лапицкого. URL: <http://anthropology.ru/ru/text/delyoz-zh/mishel-turne-i-mir-bez-drugogo>
5. Ноймани И. Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей / пер. с англ. В.Б. Литвинова, И.А. Пильщикова. М.: Нов. изд-во, 2004. 335 с.
6. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / пер. с англ. И. Федюкина. М.: Новое лит. обозрение, 2003. 549 с.
7. Довгополова О.А. Амбивалентность как характеристика образа чужого // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 1(2): Свое и Чужое в культуре. С. 26–31.
8. Гуминский В.М. Путь на Запад: русская литература путешествий в послепетровскую эпоху // Новая книга России. 2016. № 3. С. 17–25. URL: <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskiy1.htm>
9. Козлов С.А. Русские путешественники Нового времени: имперский взгляд или воспри-

ятие космополита? // *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context* / ed. M. Tetsuo. Sapporo, 2008. С. 133–147.

10. Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий: 1790–1840 / пер. с англ. Д. Соловьева. СПб.: Академический проект, 2004. 272 с.

11. Шукров Р.М. Введение, или Предварительные замечания о Чуждости в истории // Чужое: опыты преодоления: Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999. С. 9–30.

12. Лотман Ю.М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 110–120.

13. Куликова А.А. Путевая проза в русской литературе конца XVIII начала XIX века // Учен. зап. Рос. гос. соц. ун-та. 2008. № 4 (60). С. 241–243.

14. Козлов С.А. Русский путешественник эпохи Просвещения: в 3 т. Т. 1. СПб.: Историческая иллюстрация, 2003. 496 с.

15. Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: сб. ст. / пер. с нем. Г.А. Тиме. М.: Новое лит. обозрение, 2010. 400 с.

16. *Phänomenologie, Geschichte und Anthropologie des Reisens* / Hrsg. von L. Polubojarinova, M. Kobelt-Groch, O. Kulishkina. Kiel: Solivagus, 2015. 584 S.

17. Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы / под ред. Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. 462 с.

18. Lebedeva O.B., Januškevič A.S. Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2000. 276 S.

19. Оболенская С.В. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М.: ИВИ РАН, 2000. 210 с.

20. Тиме Г.А. Путешествие Москва – Берлин – Москва: Русский взгляд Другого (1919–1939) / отв. ред. Р.Ю. Данилевский. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. 158 с.

21. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: учеб. для вузов по филол. специальности. М.: Высш. шк., 2003. 415 с.

22. Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М.: Изд. центр РГГУ, 1995. 512 с.

23. Зиновьев В.Н. Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии (1784–1785) / подгот. текста и коммент. Н.Д. Блудилиной // Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Вып. 3: Литературные источники последней трети XVIII века. М., 2008. С. 335–380.

24. Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2 / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. Г.П. Макогоненко. М.; Л.: Худож. лит., 1959. 742 с.

25. Лебедева О.Б. Alter ego как имагологический объект: нарративная структура «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина в свете национальной повествовательной традиции // Имагология и компаративистика. 2015. № 1. С. 5–28.

26. Морозова Н.Г. Экфразис в русском травелогике конца XVIII века // Альманах современной науки и образования. Тамбов, 2007. № 3 (3): в 3 ч. Ч. 1. С. 162–165.

27. Штэдтке К. Путешествия минеролога и геохимика В.И. Вернадского // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: сб. ст. / пер. с нем. Г.А. Тиме. М., 2010. С. 381–395.

28. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С. 525–606.

29. Лотман Ю.М. Карамзин: Сотворение Карамзина: статьи и исследования 1957–1990. Заметки и рецензии. СПб.: Искусство-СПб, 1997. 832 с.

30. Лубяновский Ф.П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 годах: в 3 ч. Ч. 1. СПб., 1805. 230 с.

31. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / сост. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 716 с.

32. Чавчанидзе Д.Л. Два «путешествия» на исходе XVIII века: (К.Ф. Мориц и Н.М. Карамзин) // Балтийский филологический курьер. 2013. № 9. С. 55–62.

33. Neumann F.W. Deutschland im russischen Schrifttum // Die Welt der Slaven. 1960. H. 2. S. 113–130.

THE IMAGE OF GERMANY IN RUSSIAN TRAVELOGUES AT THE TURN OF THE 19TH CENTURY: NATURAL AND ANTHROPIC SPACES (TO THE PROBLEM STATEMENT)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 168–187. DOI: 10.17223/19986645/49/11

Sergey S. Zhdanov, Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk, Russian Federation), Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: vlasov_mikhailo@mail.ru

Keywords: travelogue, The Other's image, sentimentalism, idyll, Germany, Germans, V.N. Zinoviev, D.I. Fonvizin, N.M. Karamzin, F.P. Lubyanovskiy.

The article deals with images of Germany in Russian travelogues. In addition, the paper is integrated in a broad context of Alien and Other studies in the modern foreign and Russian humanitaristics including works by E. Said, I. Neumann, B. Waldenfels, G.A. Time etc.

The author points that there were intensified contacts between Russia and the West in particular Germany in the 18th century. At the same time the burgeoning elite of the new empire had to solve a problem of self-identity in the European space, which led to the transformation of Own's and the Other's images in its culture. This process was reflected in Russian literature as travelogues telling about their authors' journeys to the West and connecting personal subjective impressions and opinions with objective factographic information. In the late 18th century a transformation of travelogues made some of them belong to belles-lettres. The turning point of this is N.M. Karamzin's *Russian Traveller's Letters* integrating the practice of his native predecessors and traditions of European sentimentalism.

Differences between pre- and post-Karamzin's travelogues are represented in the article by analyzing the text of *Russian Traveller's Letters*, V.N. Zinoviev's *Journal of a Journey to Germany, Italy, France and England* (1784–1785), D.I. Fonvizin's letters and F.P. Lubyanovskiy's *Journey to Saxony, Austria and Italy in 1800, 1801 and 1802*. The texts vary in style and content. If V.N. Zinoviev's and D.I. Fonvizin's impressions are brief and laconic N.M. Karamzin's and F.P. Lubyanovskiy's works include large fragments with expatiative descriptions and a special evocative sentimentalistic language. In addition, *Russian Traveller's Letters* are more subjective and emotional than Lubyanovskiy's *Journey*.

The difference between these pairs of texts is also seen in relation to images of natural and urbanistic landscapes. Natural loci do not seem to exist for Zinoviev and Fonvizin, they describe primarily German cities. If countryside is mentioned, it entails the chronotope of the road marked with retardation, loss and adversity. Descriptions of natural landscapes are numerous in Karamzin's and Lubyanovskiy's works, they are emotionally coloured, which is characteristic of sentimentalism with its cult of Nature.

The sentimentalists often describe German loci as a kind of an idyll with such features as peace, happiness, quietness, diminutiveness, temperance, space harmony of natural and anthropic elements. Fonvizin's letters make a sharp contrast with the texts of the sentimentalists. Negative characteristics of German places including the motif of infernal space dominate in his correspondence. Writing from a perspective of cultural space centering, Fonvizin pronounces superiority of his Own, i.e. Russian, over the Other, in particular German. In a manner, he desacralises the image of West Europe whereas the journey of Karamzin's traveller reminds of a pilgrimage. However, the characters created by the sentimentalists can not be called unconditional westerners. The point of their journeys is not to demonstrate superiority of the Other over the Own, not to become German, but to discover this alien cultural space to make it their own.

References

1. Time, G.A. (2007) O fenomene russkogo putesthestviya v Evropu. Genezis i literaturnyy zhanr [On the phenomenon of Russian travel to Europe. Genesis and literary genre]. *Russkaya literatura*. 3. pp. 3–18.
2. Said, E. (2006) *Orientalizm: Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism: Western concepts of the East]. Translated from English by A. V. Govorunov. St. Petersburg: Russkiy mir.
3. Waldenfels, B. (1994) *Svoya kul'tura i chuzhaya kul'tura. Paradoks nauki o "Chuzhom"* [Native culture and foreign culture. The paradox of the science of "The Other"]. Translated from English by O. Kubanova. *Logos*. 6. pp. 77–94. [Online] Available from: <http://anthropology.rinet.ru/old/6/wald.htm>.
4. Deleuze, J. (2007) *Mishel' Turn'e i mir bez Drugogo* [Michel Thormier and the world without

the Other]. Translated from French by V. Lapitskiy. [Online] Available from: <http://anthropology.ru/ru/text/delyoz-zh/mishel-turne-i-mir-bez-drugogo>.

5. Neumann, I. (2004) *Ispol'zovanie "Drugogo": obrazy Vostoka v formirovanii evropeyskikh identichnostey* [The use of the "Other": images of the East in the formation of European identities]. Translated from English by V.B. Litvinov & I.A. Pil'shchikov. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

6. Wolf, L. (2003) *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniya* [Inventing Eastern Europe: a map of civilization in the consciousness of the Enlightenment]. Translated from English by I. Fedyukin. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

7. Dovgoplova, O.A. (2011) Ambivalence as characteristic of Alien Image. *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury – International Journal of Cultural Research*. 1(2). pp. 26–31. (In Russian).

8. Guminskiy, V.M. (2016) Put' na Zapad: russkaya literatura puteshestviy v poslepetrovskuyu epokhu [Path to the West: Russian literature of travels in the post-Petrine era]. *Novaya kniga Rossii*. 3. pp. 17–25. [Online] Available from: <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskiy1.htm>

9. Kozlov, S.A. (2008) Russkie puteshestvenniki Novogo vremeni: imperskiy vzglyad ili vospriyatie kosmopolita? [Russian travelers of modern times: the imperial view or the perception of the cosmopolitan?]. In: Tetsuo, M. (ed.) *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context*. Sapporo: SRC.

10. Shenle, A. (2004) *Podlinnost' i vymysel v avtorskom samosoznanii russkoy literatury puteshestviy 1790–1840* [Authenticity and fiction in the author's self-consciousness of Russian travel literature of the 1790s–1840s]. Translated from English by D. Solov'ev. St. Petersburg: Akademicheskii projekt.

11. Shukurov, R.M. (1999) Vvedenie, ili Predvaritel'nye zamechaniya o Chuzhdosti v istorii [Introduction, or Preliminary Remarks on Otherness in History]. In: Shukurov, R.M. (ed.) *Chuzhoe: opyty preodoleniya. Ocherki iz istorii kul'tury Sredizemnomor'ya* [The Other: Experiences of Overcoming. Essays from the history of culture of the Mediterranean]. Moscow: Aleteya.

12. Lotman, Yu.M. (1992) *Izbrannyye stat'i v 3 t.* [Selected articles in 3 vols]. Vol. 1. Tallin: Aleksandra. pp. 110–120.

13. Kulikova, A.A. (2008) Putevaya proza v russkoy literature kontsa XVIII – nachala XIX veka [Fiction prose in Russian literature at the end of the eighteenth and early nineteenth centuries]. *Uchenyye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo universiteta*. 4 (60). pp. 241–243.

14. Kozlov, S.A. (2003) *Russkiy puteshestvennik epokhi Prosveshcheniya: v 3 t.* [The Russian traveler of the Enlightenment]. Vol. 1. St. Petersburg: Istoricheskaya illyustratsiya.

15. Kissel, V.S. (ed.) (2010) *Beglye vzglyady: Novoe prochtenie russkikh travelogov pervoy trety XX veka: Sbornik statey* [Cursorial glances: A new reading of Russian travelogues of the first third of the twentieth century: Collection of articles]. Translated from German by G.A. Time. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

16. Polubojarinova, L. von, Kobelt-Groch, M. & Kulishkina, O. (eds) (2015) *Phänomenologie, Geschichte und Anthropologie des Reisens* [Phenomenology, History and Anthropology of Travel]. Kiel: Solivagus.

17. Pecherskaya, T.I. & Konstantinova, N.V. (eds) (2016) *Russkiy travelog XVIII–XX vekov: marshruty, toposy, zhanry i narrativy* [Russian travelogue of the 18th–20th centuries: routes, toposes, genres and narratives]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.

18. Lebedeva, O.B. & Januškevič, A.S. (2000) *Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts* [Germany in the mirror of Russian writing culture of the 19th and beginning of the 20th century]. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.

19. Obolenskaya, S.V. (2000) *Germaniya i nemtsy glazami russkikh (XIX v.)* [Germany and the Germans through the eyes of Russians (nineteenth century)]. Moscow: IWH RAS.

20. Time, G.A. (2011) *Puteshestvie Moskva – Berlin – Moskva. Russkiy vzglyad Drugogo (1919–1939)* [The Moscow – Berlin – Moscow Travel. Russian view of the Other (1919–1939)]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

21. Lebedeva, O.B. (2003) *Istoriya russkoy literatury XVIII veka* [History of Russian literature of the 18th century]. Moscow: Vysshaya shkola.

22. Toporov, V.N. (1995) *"Bednaya Liza" Karamzina. Opyt prochteniya: K dvukhsotletiyu so dnya vykhoda v svet* ["Poor Lisa" by Karamzin. Reading experience: To the bicentenary of the publication day]. Moscow: RSUH.

23. Zinov'ev, V.N. (2008) Zhurnal puteshestviya po Germanii, Italii, Frantsii i Anglii (1784–1785) [Travel diary for Germany, Italy, France and England (1784–1785)]. In: Bludilina, N.D. (ed.) *Rossiya i*

Zapad: gorizonty vzaimopoznaniya [Russia and the West: horizons of mutual knowledge]. Vol. 3. Moscow: IWL RAS.

24. Fonvizin, D.I. (1959) *Sobr. soch. v 2 t.* [Works in 2 vols]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.

25. Lebedeva, O.B. (2015) Alter ego as an object of imagology: the narrative structure of Letters of a Russian Traveler by N.M. Karamzin in the light of the national narrative tradition. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1. pp. 5–28. (In Russian). DOI: 10.17223/24099554/3/1

26. Morozova, N.G. (2007) Ekfrazis v russkom traveloge kontsa XVIII veka [Ekphrasis in the Russian travelogue of the end of the 18th century]. *Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*. 3 (3):I. pp. 162–165.

27. Shtadtke, K. (2010) Puteshestviya minerologa i geokhimika V.I. Vernadskogo [Travel of mineralogist and geochemist V.I. Vernadskiy]. Kissel, V.S. (ed.) *Beglye vzglyady: Novoe prochtenie russkikh travelogov pervoy treti XX veka: Sbornik statey* [Cursory glances: A new reading of Russian travelogues of the first third of the twentieth century: Collection of articles]. Translated from German by G.A. Time. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

28. Lotman, Yu.M. & Uspenskiy, B.A. (1987) “Pis'ma russkogo puteshhestvennika” Karamzina i ikh mesto v razvitii russkoy kul'tury [Russian Traveller's Letters by Karamzin and their place in the development of Russian culture]. In: Karamzin, N.M. *Pis'ma russkogo puteshhestvennika* [Russian Traveller's Letters]. Leningrad: Nauka.

29. Lotman, Yu.M. (1997) *Karamzin. Sotvorenie Karamzina. Stat'i i issledovaniya 1957-1990. Zametki i retsenzii* [Karamzin. Formation of Karamzin. Articles and research, 1957–1990. Notes and reviews]. St. Petersburg: Iskustvo-SPB.

30. Lubyanskiy, F.P. (1805) *Puteshestvie po Saksonii, Avstrii i Italii v 1800, 1801 i 1802 godakh: v 3 ch.* [Travel in Saxony, Austria and Italy in 1800, 1801 and 1802: in 3 parts]. Pt. 1. St. Petersburg: Meditsinskaya tipografiya.

31. Karamzin, N.M. (1987) *Pis'ma russkogo puteshhestvennika* [Russian Traveller's Letters]. Leningrad: Nauka.

32. Chavchanidze, D.L. (2013) Dva “puteshestiya” na iskhode XVIII veka (K.F. Morits i N.M. Karamzin) [Two “journeys” at the end of the 18th century (K.F. Moritz and N.M. Karamzin)]. *Baltiyskiy filologicheskiy kur'er – Baltijskij filologičeskij kur'er*. 9. pp. 55–62.

33. Neumann, F.W. (1960) Deutschland im russischen Schrifttum [Germany in the Russian literature]. *Die Welt der Slaven*. 2. pp. 113–130.